

ЯЗЫКИ ФИЛОСОФИИ, ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ В АСПЕКТЕ СМЫСЛА

ФАТЕНКОВ А. Н.

Любые идеи – обыденно-житейские, философские, художественные, научные – обнаруживаются, постигаются, сохраняются, преобразовываются, опредмечиваются человеком в знаковой, прежде всего, вербальной форме. Текст и дискурс – преимущественно статическая, ставшая и преимущественно динамическая, становящаяся ипостаси функционирующей и развивающейся семиотической системы, соответственно, – фигурируют в каждой из этих ситуаций. Всякий текст есть ансамбль символов, хотя бы гипотетически прочитываемый и, следовательно, так или иначе понимаемый. Чем выше степень его понимания, тем ценнее он, по общему правилу, для человека. Однако не всякий ансамбль символов, тем более – их набор, допустимо считать просто текстом. Существуют неординарные – сакральные – знаковые структуры, заведомо адекватно не интерпретируемые, ценность которых, тем не менее, если и не в полной мере, то отчасти осознаётся или, во всяком случае, ощущается людьми. Напротив, встречаются знаковые псевдоструктуры, до статуса текста и дискурса не дотягивающие и свидетельствующие лишь о сотрясании воздуха болтуном или о бумагомарательстве графомана.

Репрезентативной единицей текста и дискурса, без каких бы то ни было оговорок идентифицируемой по критериям осмысленности, предметности, истинности, выступает суждение (высказывание). В то время как, например, истинностная оценка предельно лаконичных логико-грамматических элементов – понятий, имён, терминов – требует дополнительных разбирательств, апелляций к мировоззренческим интуициям, не поддающимся исчерпывающей рациональной верификации. “Вопрос о том, могут ли понятия обладать истинностью или ложностью, решается в зависимости от того, какой смысл придаётся термину “понятие”, – разъясняет Л.А. Микешина. – Если “понятие” отождествляется с пропозициональной функцией Px , как это иногда делают логики, то очевидна бессмысленность приписывания ему истинности или ложности, ибо в этом выражении ничего не утверждается и не отрицается о существовании или свойствах объекта, вмес-

то имени которого стоит переменная x . Но если под понятием имеется в виду содержательная и определённая форма отражения в мышлении объекта, например конструкт, или “свёрнутое” определение (Д.П. Горский), или “особая форма суждения” (П.В. Копнин), или сжатое, конденсированное отражение сущности теории (В.С. Библер), то, разумеется, такого рода понятия могут оцениваться как истинные или ложные” [1]. Вспомнив также о позиции П.А. Флоренского (“слово, понимаемое узко, должно рассматривать как свившееся в комок предложение и даже целую речь, а предложение – как распустившееся свободно слово” [2]) и Г.Г. Шпета (“синтаксическая “связь слов” есть также слово” [3]), рискнём “на обобщение”: отечественная интеллектуальная традиция признаёт гносеологическую полноценность и кратчайших логико-грамматических конструктов. Субстанциальность русского мировоззрения переносится на качество языковой формы его выражения. Сопричастный объёмлющему его бытию, русский дискурс организован таким образом, что некоторые из задействованных в нём имён концептуально соразмерны всему нашему говорению и письму.

Проявляя интерес прежде всего к лингвистической матрице философии, заметим: её поиск малопродуктивен без учёта и рассмотрения сопредельных с диалектической метафизикой культурных феноменов со свойственными им языковыми каркасами. Из пограничных с философией сфер творчества остановимся на литературе и науке, в которых текст и дискурс также по преимуществу воплощаются в письме. Интуиция и опыт подсказывают, что символические структуры, используемые в различных духовно-интеллектуальных практиках, пересекаясь и сопрягаясь, должны одновременно – отчасти, заметно, а может быть и существенно – различаться между собой. В книге модных ныне интеллектуалов Ж. Делёза и Ф. Гваттари подчёркивается: и философия, и литература, и наука изъясняются фразами. Но “из фраз или их эквивалента философия добывает концепты (не совпадающие с общими или абстрактными идеями), тогда как наука проспекты (пропозиции, не совпадающие с суждениями), а искусство – перцепты и аффекты (также не совпадающие с восприятиями и чувствами)” [4].

Сопоставляемые вербальные каркасы уместно сравнивать, не обязательно впадая при этом в крайности мозаичес-

ки-дробной стилистики постмодерна, по степени размытости, вариативности их смыслового значения. *Смысл есть идеальная ипостась целокупно или фрагментарно взятого сущего, некоторым образом соотносящаяся с субъектом, (со-) творимая и постигаемая им.* Если само идеальное – преимущественно (хотя и не абсолютно) субстанциально, то в смысле весьма ощутима и реляционная компонента. Смысл всегда с кем-то сопряжён, он всегда – чей-то. Божественный. Человеческий. Русский, немецкий, китайский. Интеллигентский, крестьянский, буржуйский. Вполне оправданно проводимое С.С. Неретиной отграничение экзистенциально насыщенного смысла, концентрирующегося в концепте, от смысла абстрактного, отвлечённого от субъекта и фиксируемого в понятии [5]. Последнее статично. Концепт внутренне динамичен, диалектичен. Персонифицированный смысл разнится ещё в зависимости от пространственно-временных координат, в которых находится обременённый им человек. Оставаясь невыраженным, концепт всецело субъектно-идеален (внешне чувственно не воспринимаем в силу уникальной субъектной сосредоточенности). Человеческая и – шире – личностная экспрессия делает смысл идеально-материальным. Идеальное, если это объектно-идеальное (чувственно не воспринимаемое в силу уникальной объектной рассредоточенности, актуальной бесконечности), может быть ничейно, анонимно. Оно одинаково удалено и от нижегородца, и от парижанина; и от труженника, и от прохиндея. Христианский Бог есть, очевидно, идеальная субстанция-личность, в которой абсолютная объектная рассредоточенность сопрягается или даже совпадает (если следовать известному тезису Николая Кузанского) с абсолютной субъектной сосредоточенностью. Удельный вес реляционной составляющей возрастает при переходе от смысла к *смысловому значению – всеобъемлюще психически переживаемому* (а не только рассудочно рефлектируемому) *субъектом вербально* (даже в глубинных своих пластах) *оформленному смыслу, который конституируется в конкретной знаковой системе с соблюдением и/или нарушением обнаруживаемых, устанавливаемых, предполагаемых в ней семантических и синтаксических правил.*

Всякое лицо посюстороннего мира непосредственно имеет дело не со смыслом как таковым, а с тем, что он для сей персоны значит. При этом не исключено, что соположение

смысла и смысловой значимости удачно вписывается в изящный алгоритм, предложенный некогда Григорием Паламой для решения схожей проблемы соотношения сущности и энергии. Памятуя о намёках и находках философов постклассической эпохи, данный алгоритм целесообразно обогатить принципом *подвижной иерархии*. На выходе получаем: смысловое значение равно смыслу, но тот не равен смысловому значению, возносится над ним. Справедливо и обратное. Смысл тождественен смысловому значению, но оно не тождественно смыслу, превышает его. Субъективация объективной и интерсубъективной реальности самоценна. Синтезируемый продукт способен – как аксиологически, так и онтологически – превзойти её. Прокручиваемая в моей голове чувственно-волящая мысль не только детерминирована мировым разумом, трансцендентным эйдосом, космическим информационным полем или общественным сознанием, не только является их содержанием, но и сама, в свою очередь, вскармливает – не важно – все ли, некоторые, какую-то одну из объективных и/или интерсубъективных идеальных инстанций. Иначе говоря, субординация по оси “смысл – смысловое значение” инвертируема.

Многогранность субъектной инстанции, сосуществование в ней планов индивидуальных и коллективных усложняет структурированность концептуального поля, приводит к появлению в нём узловых точек, возникающих на пересечении нескольких смысловых значений: зачастую близких, нередко далёких. Почти каждое слово вздымает “прах тысячи смыслов”, присваиваемых ему “и веками, и различными странами, и даже отдельными людьми” [6].

Мера концептуальной размытости, вуалированности литературно-художественного дискурса, в сопоставлении с философским и научным, оказывается максимальной. В нём, особенно если речь идёт о произведении неклассической стилистики, проблематична сама осмысленность употребляемых выражений, а ещё в большей степени – осмысленность их относительно завершённого единства, текста. Простейшие мыслительные и языковые формы податливы к любым метаморфозам под пером поэта. Тот страстно отстаивает свои права на “слово-новшество”, “на увеличение словаря в его объёме

произвольными и производными словами” [7]. Литератор не церемонится со сводами правил грамматики, манкирует нормами обыденной лексики. Комбинацией букв “еуы”, как и всякой другой, самой прихотливой, он волен именовать цветущую лилию или иной приглянувшийся ему предмет. Так, Х.Л. Борхес убеждён: “Какое бы сочетание букв, например: д х ц м р л ч д й – я ни написал, в божественной Библиотеке на одном из её таинственных языков они будут содержать некий грозный смысл” [8]. Писатель (не литературный делец) подчиняется лишь врождённому вкусу, чувству прекрасного. Поэзия – литература чистой воды – “есть язык в его эстетической функции” [9].

Соотносимы с ней философия и наука более внимательны к повседневному словоупотреблению, но, в отличие от него, оперируют специально обработанными лексемами – терминами. Суть перековки обыденного слова в термин заключается, в первую очередь, в придании возможно более строгих границ спектру его смысловых значений. Проблема становления философского категориального аппарата обстоятельно, на богатом фактическом материале рассмотрена в работе С.С. Аверинцева [10]. В ней обращается внимание на *подвижность* философского термина. Уже конституировавшись, он продолжает появляться у того же греческого автора, в том же тексте и с изначальной смысловой нагрузкой, задаваемой сугубо житейской ситуацией. Так, лексемы “идея”, “эйдос” использовались Платоном и в значении “видимость”, “наружность”. Правда, подвижность диалектико-метафизической категории авторитетный филолог увязывает только с двумя этапами развития философской мысли. С периодом античной классики – но это одна из высочайших вершин любомудрия и неизвестно, покорённая ли наследниками эллинов вершина. И с эпохой зарождения философии из предфилософии – опять же, эпохой немаловажной и не вполне ясно, способной ли прийти к окончательному завершению, исчерпать себя. В терминологии М.М. Бахтина, исходный элемент философских рассуждений может быть поименован “словом с лазейкой”, оставляющим за собой возможность неожиданно изменять свой “последний, окончательный смысл” [11]. Оно “в той или иной степени присуще всем исповедальным высказываниям героев Достоевского” [12], всей его многомерной поэтической философии. Получается, что каким бы “за-

калённым и уплотнённым”, “созревшим” ни представлялось в противовес житейскому слово философское, оно также никогда не костенеет, пульсируя в унисон порывам экзистирующей личности. Оттого контуры его зыбки и расплывчаты, и само оно, воспользуемся неологизмом Ф.М. Достоевского, постоянно готово стусеваться. Или спрятаться. То за своим двойником из просторечья, то за собственным клоном из научного дискурса. Не так ли ведёт себя, скажем, всегда страстная, эмоционально насыщенная *философская правда*: то облачаясь – не сразу поймёшь, зачем – в одежды *бытовой, сермяжной правды*; то – не теряя достоинства, но как будто смиренно – ретируясь и пропуская вперёд высокомерную *научную истину*; то оборачиваясь – своим зеркальным отражением – уже *истиной философской*?

Напряжение, надрыв, привносимые экзистенциально-метафизической категорией в поток словотворчества, выкачивает её внутреннюю энергичность, диалектичность. А каково естество научного понятия? Несмотря на то, что “наука и философия – две руки *одного* организма” [13], дистанция между ними огромна. Философия, по П.А. Флоренскому, уподобляет освоение термина восхождению путника на вершину, достигнув которую он “заменяет продвижение – вращением”, но не прекращает движения вообще, ощущая и осознавая временность своей здешней стоянки. Наука же “начинает *верить* в достигнутую вершину *как в окончательною...*” [14].

В самом деле, философское понятие, в отличие от научного, оказывается заметно менее застывшим и потому дефинировать его гораздо труднее. Сравним, к примеру, “идеальный газ” и “идеальное государство”. Строго определить первое не составляет особого труда после его легитимации академическим сообществом. Надо лишь, хотя бы с помощью справочника, назвать приписываемые данному идеализированному объекту признаки (их число не играет особой роли), содержательная сторона и перечень коих устанавливается конвенцией профессионалов. Идеальный газ – он и в Африке идеальный газ. Узаконив отсутствие взаимодействия между корпускулами, мы не можем отказаться от выдвинутого утверждения, не разрушив сконструированную научную модель. Подобная смысловая фиксированность принципиально отсутствует в диалектико-метафизическом дискурсе, несомнен-

но сближающемся в этом плане с поэтическим. В частности, в понятии “идеальное государство” далеко не одинаковый концепт подразумевается представителями не только различных культурных традиций, исторических эпох, но и сторонниками здесь и сейчас конкурирующих общественно-политических сил. Одни до конца отстаивают лозунг буквального равенства, другие – лозунг жёсткой иерархии, третьи уповают на предельную персонификацию общественно-политической жизни (властвовать должны люди), четвёртые – на её тотальную институционализацию (править должны законы). Регламентированной комбинации перечисленных и иных признаков – по аналогии, допустим, с ситуативным описанием электрона: то как частицы, то как волны, – оппонирует та точка зрения, согласно которой совершенное государство заведомо не подчиняется регламентации. Естествоиспытатель, не ломая голову, исчисляет массу анализируемого образца в граммах, социолог уверенно соотносит степень социальной справедливости с децильным коэффициентом. Отыскание универсальной философской “единицы измерения” той же справедливости (или красоты, счастья) весьма проблематично.

Исходя из требования интерсубъективной общезначимости, смысл научного понятия полностью, видимо, передаётся внешней, априорной по отношению к текстопорождающей личности и достаточно косной формой языкового конструкта. Философский же концепт детерминирован – вспомним Г.В.Ф. Гегеля – триединством моментов всеобщности, особеннности и единичности, наверняка присутствующих и в слове. Диалектико-метафизическая категория распознаётся как “бесконечная форма, или свободная творческая деятельность” [15], саморазвивающаяся до уровня *идеи* – истины “в себе и для себя”, абсолютного единства “понятия и объективности” [16]. Не став пока идеей, понятие ещё абстрактно [17]. Идея же, одновременно, и радикально конкретна, она есть нечто “всцело присутствующее здесь” [18]. Г.В.Ф. Гегель тут солидарен с романтиками. Согласно Ф. Шлегелю, например, “идея – это понятие, доведённое до иронии в своей завершённости, абсолютный синтез абсолютных антитез, постоянно воспроизводящая себя смена двух борющихся мыслей” [19]. В идее, дистанцированной от понятия, усматривал подлинный первоэлемент философских размышлений и В.С. Соловьёв. Его

позиция, в лаконичном изложении А. Кожева, сводится к трём тезисам: 1) в противовес понятийной размерности, взаимоотношение между содержанием и объёмом идеи не подчиняется закону обратно пропорциональной зависимости; 2) наоборот, “содержание идеи тем богаче, чем шире её объём”; 3) объясняется это тем, что “идеи, будучи в отличие от понятия монадами, являются активными субъектами” [20]. Сообразуются они, как верно подметил Г. Дебор [21], с каноном обращения генитива, обусловливающим, в хрестоматийной версии, философию нищеты и нищету философии.

Итак, не категорию, традиционно мыслимую предельно общим понятием и получаемую линейной экстраполяцией в бесконечность понятий частнонаучных, а идею (катеорию-идею), гармонично объединяющую в себе всеобщность и конкретность, резонно полагать базовой структурной единицей философского языка. Никакого плавного перехода от научного к диалектико-метафизическому дискурсу в данном случае не наблюдается.

Понятия, отличающиеся от идей, суть корреляты теоретически нагруженных фактов, поиском которых, наряду с последующим их анализом и комбинированием, компетентно занимается наука. Понятия достаточно индифферентны к эмоционально-интонационной стороне говорения и письма. Смысл научного термина ничтожно мало зависит от того, в каком настроении с ним сталкивается специалист. Совсем несхожая картина вырисовывается при освоении знатоком или смышлёным дилетантом диалектико-метафизического термина. Философия не стремится выстраивать систему общих понятий. И озабочена она не обнаружением и накоплением фактов. Она пытается – ни много, ни мало – “вскрыть бытие-событие, как его знает ответственный поступок” [22]. Череда деяний – местами органично-слитная, местами терпящая разрыв – образует жизнь. Постижением её идеи занимается диалектическая метафизика. Для закрепления в языке человеческого поступка “нужна вся полнота слова: и его содержательно-смысловая сторона (слово-понятие), и наглядно-выразительная (слово-образ), и эмоционально-волевая (интонация слова) в их единстве” [23]. Иначе говоря, внутренний настрой автора и читателя (слушателя) привносит в диалектико-метафизический контекст весомый концептуальный вклад. “Мировой дух”, поданный на десерт к обильной

трапезе, совсем не тот, что мыслится натошак. “Материя”, распалаящая ум в стенах астрофизической лаборатории, иная, нежели лезущая в душу за кладбищенской оградой.

* * *

Обсуждение языковых структур философии, литературы и науки даже на простейшем логико-грамматическом уровне показывает значительное расхождение этих духовно-интеллектуальных практик, которое становится ещё зримее при переходе на более сложный уровень – высказываний и их комбинаций.

Вновь начнём с анализа литературно-художественного языка. Вчитаемся в стихотворный текст обэриута А. Введенского: “... еду еду на коне / страшно страшно страшно мне / я везу с собой окно / но в окне моём темно / я несую большую пасть / мне она не даст упасть / всё же грустно стало мне / на таинственном коне / очертания стоят / а на них бегущий яд / твёрдый стриженный лишай / ну предметы не плошай / соберитесь в тёмном зале / как святые предсказали / но ответило светло / где крапивное село / и сказало помело / то село на нет светло...” [24]. В отрывке, вполне, думается, репрезентативном, ещё хорошо узнаваемы зёрна смысла, быть может и способные превратиться в переливающееся чудными красками гармонически-целостное концептуальное панно; быть может и намекающие на его наличие, – но без должной очевидности, неоспоримости. В знаменитых же строках футуриста А. Кручёных – “дыр, бул, щыл, / убещур / скум / вы со бу / р л эз” [25] – как будто растворяются последние грани общезначимого смысла. Впрочем, и тут его величина, т.е. величина интересу субъективной составляющей смыслового значения, отлична от нуля. Никак нельзя констатировать полное отсутствие логоса в творениях футуристов, но, подчёркивает П.А. Флоренский, “его там *не видно* и, поскольку не видно, постольку и самые (эти – А.Ф.) творения выходят за пределы (интерсубъективных – А.Ф.) оценок” [26]. Приговор, пожалуй, слишком суров. Действительно, семантическая и синтаксическая подвижность литературного дискурса затрудняет раскрытие, распознавание в нём сверхиндивидуального концептуального пласта. Несомненно, однако, что ряд символов, предложенный А. Кручёных, способен породить в головах нескольких человек схожие, пусть и смутные, образы и, что ещё бо-

лее вероятно, вызвать у разных людей схожий эмоциональный и волевой настрой. Собственно же субъективная концептуальная компонента всегда наличествует в поэтическом слове, как и во всяком живом знаке – помысленном, проговорённом, записанном, умолчённом.

Свойственный литературной фразе намеренный отход от семантических норм коммуникативного (экономного, ориентированного на однозначность) языка свидетельствует скорее о её осмысленности, ибо тропизм сам давно стал каноном поэтического слога. “... Поэзия есть аллегория”, – вслед за немецкими романтиками провозгласил А.А. Потебня [27]. Аналогична, во многом, ситуация и с тенденциозным нарушением (скажем, теми же авангардистами) устоявшихся правил синтаксиса. Здесь также чётко просматривается художественная целесообразность – стремление возвысить “слово как таковое” [28], сделать литературную речь “заторможенной, кривой” [29], “непрозрачной” [30]. “И не так велика разница, – аргументированно заключает Ц. Тодоров, – между *Selbstsprache* “автоязыком” Новалиса и *самовитой речью*... Хлебникова...” [31], между вербальным орнаментом романтизма и футуризма. Стало быть, поэтический дискурс, один из самых вольных, вроде бы обречён на осмысленность. Попытка избавиться от неё приводит не к бессмыслице, а только к смене концептуальных планов.

Сквозная осмысленность поэтического дискурса может быть поставлена под сомнение лишь апологетами “чистого разума” и стерильных концептов, полагающими, вместе со Г.Г. Шпетом, смысл исключительно объективным или, хотя бы, интересу субъективным, не зависящим “от нашего (индивидуально-личностного – А.Ф.) существования” [32], а слово – свободным от “субъективных представлений и переживаний говорящего” [33]. Если кого-то привлекает интеллигибельный паноптикум – вольному воля. Оппоненты же вправе отозваться о нём как о мёртворождённой спекуляции отвлечённого идеализма. Литературу можно пожурить за концептуальный анархизм, за свойственное ей эдакое семантическое “Гуляй-Поле”. Изошрённые противоречия в нём не только снисходительно терпят, но и намеренно множатся – и авторами текстов, и читателями. Громада сталкивающихся смысловых глыб и осколков, в пустотах которой прячется тишина недосказанности, – удобный для этого материал. Литературе мож-

но поставить в счёт смысловые галлюцинации декаданса. Но тщетно стремление приравнять её к бессмыслице.

Философия и наука концептуально более строги. Хотя их семантическая правильность неоднотипна и достигается разными способами.

Наука, оглядываясь на свой стержневой методологический принцип – редукции, поступает предельно просто. Во-первых, она законодательно изгоняет из собственного предмета, отсекает от него индивидуально-личностную компоненту смысла, объявляя её устами идеологов сциентизма “идолом пещеры”. Позиция учёных-ревизионистов, подобно М. Полани ратующих за пересмотр идеала “безличной, бесстрастной истины” [34], по сей день остаётся в среде естествоиспытателей маргинальной. Во-вторых, вкупе с моделируемым физическим пространством — однородным и изотропным — декретируется и языковое пространство науки. Заповедные уголки национальных культур вычищаются в нём за ненадобностью, точнее – отправляются на периферию, в область популяризации научных знаний. Симптоматичны шаги, принятые в этом направлении Г. Галилеем. Разрушая аристотелеву модель иерархического космоса, он параллельно вырабатывает и новый – прозрачный – стиль письма, полностью отказываясь от аллегорий и риторических отступлений, характерных для преднововременного академического дискурса [35]. При этом издаёт свои труды – в пропагандистских целях – не на латыни, а на итальянском языке. Лишь неизбывный антропоморфизм “идола рода” немного затуманивает, к печали сциентистов, оптический прибор, позволяющий им рассматривать природу “физически интерпретированной геометрией” (Р. Баттс) [36].

Философия, категорически не приемля редукционизм, осознанно сохраняет в своём ведении экзистенциальный пласт смысла. Её семантические самоограничения обусловлены наличием в концептуализируемой реальности мощной объективной составляющей, не терпящей – как и в случае с наукой – абсолютного произвола субъекта. Философствующий человек вынужден ориентироваться также и на коллективные смыслы, причём не унифицированные, обильно взошедшие на семантическом поле науки, а на культурно и лингвистически дифференцированные. Влияние национального духа на философские концепты амбивалентно. С одной стороны, они

наполняются колоритом в жизненно-конкретной языковой среде. С другой – становятся расплывчатыми в планетарном масштабе.

В русском лексиконе, скажем, чрезвычайно трудно подобрать полный синоним европейской “экзистенции”. Самое существенное препятствие коренится в том, отмечает Т.В. Щигцова, что этой категории, “являющейся показателем подлинности человеческого бытия, в его особой интенсивности и полноте, ставится в соответствие слово, зачастую отображающее пониженный бытийный ранг человеческой жизни: насыщенной и полной смысла жизни в русском языке противопоставляют именно существование (ср. “жить, а не существовать”, “не живём, а существуем”...), приближающееся по своему смыслу к “прозябанию” [37]. Впрочем, соперничества с “жизнью” не выдерживает в отечественной культурной традиции ни одна другая идея, ну разве что “житие” (не звучи она так высокопарно). Да и вообще, весь переполох вокруг соотнесения изначально дуалистически рассечённых сущности и существования представляется русскому философу, ориентированному на монистический канон, чрезмерной, искусственно раздутой спекуляцией. Объяснимой и закономерной в ментальной атмосфере Запада. Но не у нас, с нашими гилозоистическими мотивами “двоеверия” и с мистикой исихазма, слившейся с православной ортодоксией. В русском ракурсе экзистенция есть существование, перетекающее в сущность, а не “бытие-между”, не стояние в межсущностных лакунах (“inter-esse”) или, если повезёт, в “просвете бытия” (но не в его гуще). Эссенция же есть сущность, облечённая существованием, демонстрирующая, выказывающая его. Понять концептуальный намёк “экзистенции” на подлинное существование, осознать значимость данной категории для персоналиста – и зарубежного, и отечественного – не трудно. Но при этом надо иметь в виду, что каждый из них бьётся за культурно близкую ему подлинную реальность, биться за чужую экзистенцию нет особой нужды, нет смысла.

От европейского интеллектуала, даже вооружившегося “естественным семантическим метаязыком” [38], а, быть может, по причине именно такой методологической ангажированности, – речь идёт, в частности, об Анне Вежбицкой, – ускользает содержательное богатство русской “судьбы”. Несомненно, отличной от фатума и рока: с ними-то тягаться

бесполезно (но не бессмысленно), с судьбой – отнюдь не показано. И даже, вероятно, должно – ради встречи с любимым человеком, как об этом пел герой известного отечественного кинофильма. Была бы воля. На худой конец – упрямство. А. Д. Шмелёв справедливо поправляет А. Вежицкую. Вывод “о фатализме “русской души”, о пассивности русского характера”, – полученный на основе верной констатации частого упоминания “судьбы” в нашей речи, кратного превышающего “частоту употребления *аналогов* (курсив мой – А.Ф.) этого слова в западноевропейских языках”, – “представляется несколько преувеличенным” [39].

Так или иначе, философия и наука имеют дело с суждениями, интерсубъективная осмысленность которых уже не подвергается сомнению, по крайней мере – в лингвистически однородной среде.

Оттого так яростно критикуют друг друга реалисты и номиналисты, агностики и гносеологические оптимисты, что в значительной мере понимают, не принимая сердцем и негативно оценивая содержание, суть и определённую меру обоснованности теорий оппонентов. Писателей ссорит плагиат, т.е. уворованная у кого-то и чрезвычайно близкая для потерпевшего идея. Философов – ещё и та, что далека для одного, но близка другому.

Пристальное внимание уделяется диалектическими метафизиками вопросу о том, насколько полно сгусток смысла облекается словом и насколько полно слово воспроизводит именуемый предмет. Символичен здесь ответ А. Камю. Его герой мучительно долго перестраивает и шлифует описание скачущей по Булонскому лесу амазонки. Он искренне надеется: “Когда мне удастся непогрешимо точно воссоздать картину, живущую в моём воображении... у моей фразы будет тот же аллюр, что у этой чёткой рыси – раз-два-три, раз-два-три...” [40]. В конце концов пятьдесят страниц с вариантами одного-единственного предложения брошены в огонь. И... наступает излечение от смертельного недуга. Но прежде были отброшены прочь иллюзии наивного реализма. Абсолютного совпадения лексем и их комбинаций с внелингвистической реальностью не наблюдается даже в неконвенциональных знаковых системах, существующих “по природе”, а не “по установлению”. Ведь собственно идеальная и собственно магериальная ипостаси субстанции не образуют совершен-

но гомогенную среду. Переход из одного её пласта в другой по вехам “мысль – слово – действие” сопровождается перераспределением и фрагментарной потерей вещества, энергии и на- (и над-) лично идеального. Моменты экзистенциально насыщенного смысла утрачиваются, к сожалению, безвозвратно.

Философ не сомневается: человек знает действительно больше, чем способен выразить в языке. Знать – это практически отвечать на вопрос “как (сделать что-то)?”. Наше практическое умение всегда и во всех смыслах основательнее нами же составленной инструкции для выполнения данной работы [41]. Знание – сила, направленная или неумолимо рвущаяся, вовне. Понимание есть мера внутренней активности личности, беспрестанно задающей себе вопрос “зачем?”, “с какой целью (случается то-то и то-то)?”. Первое прокладывает магистраль цивилизации, второе взращивает ниву культуры [42]. Понимание идейно, теоретично. Движение к нему также не обходится без концептуальных потерь на перегоне “смысл – слово”. Отсюда берёт начало всегда существующее в человеческом мире недопонимание. Но область понятого целиком покрывается вербальной тканью.

В философском дискурсе задействованы знаковые структуры с достаточно широкой, но не беспредельной, как у поэтов, смысловой валентностью. Образцовый стиль отыскивает Гераклит, окольцовывая “оборотническую” логику мифо-поэтического сознания. Эфесец, в интерпретации Ф.Х. Кессиди, постулирует переход каждой данной вещи “не в какую угодно другую вещь, а в ту, которая является её противоположностью...” [43]. Органически сочетая полярности “художественного образа и отвлечённого понятия”, он создаёт тот тип дискурса, который можно назвать умственным созерцанием [44]. “Гераклитовское слово, – подчёркивает Ф.Х. Кессиди, – порой лишь “намекая” на многозначительность мысли, пульсирует живой экспрессией, захватывает интонационной выразительностью” [45]. Так, в зависимости от манеры произношения, ощутимо меняется смысловой оттенок иллюстративной фразы Эфесца: “Ослы золоту предпочли бы солону” [46].

Средневековое философское мышление, убеждает коллег С.С. Неретина [47], фундаментально двусмысленно, эквивалентно. На её взгляд, данный интеллигентный феномен

отчётливо осознавался любомудрами той эпохи. Начальные рефлексии принадлежат тут Бозэцию. “Он хотел выразить не только то, что есть слова разные по смыслу, но одинаково звучащие, но что разные смыслы одного и того же слова не исчезают при определении (как ни желай избавиться от двусмысленности), а исподволь воздействуют друг на друга, позволяя логическое прочесть как метафорическое” [48]. Например, поясняет С.С. Неретина, фразу “Сократ – животное”. Действительно, она трактуема вариацией и на стагиритову тему о человеке – политическом животном, и в духе ницшеанской критики Сократа (“злобность рахитика” и т.п.).

Идея концептуальной антиномичности философии испокон веков принималась диалектиками. В Новое время она становится востребованной и отдельными аподиктически мыслящими интеллектуалами. По И. Канту, метафизика, отличная от набора банальностей, в границах “чистого разума” непреодолимо антиномична. Местом разрешения апорий кёнигсбергскому мыслителю видится сфера “практического разума”. Её авансцена отдана категорическому императиву. Казалось бы, нет ничего монументальнее и однозначнее этой этической нормы. Но вот Сигизмунд Кржижановский показывает, не без чёрного юмора, изнаночную сторону хорошо знакомого поучения: “... Наблюдая, как взвод версальцев, вскинув ружья, целился в обезоруженных коммунаров (это было у стен Пер-Лашеза), я не мог не вспомнить один из афоризмов кёнигсбергского старца: “Человек для человека – цель и ничем, кроме цели, быть не должен”” [49].

Диалектическая метафизика откровенно признаёт: в интерсубъективном ракурсе, т.е. при коллективном её использовании, когда семантическое поле вольно или невольно насыщается договорными смыслами, концептуальное (и истинностное) значение философских высказываний – как бы в пику коммуникативным тенденциям и, что называется, “из вредности”, насмехаясь над обобществлённым рассудком, – выходит за границы отношений контрадикторности (“либо то, либо другое”), контрарности (“ни то, ни другое”), субконтрарности (“и то, и другое”). Более того, усиливает тезис С.Л. Франк, “за пределы и всех возможных дальнейших усложнений этих логических форм связи понятий” [50].

Сперва может показаться, будто неклассическая наука занимает если не идентичную, то близкую к только что озву-

ченной позицию. Благо, что усилиями К. Гёделя идея фундаментальной внутренней противоречивости была распространена в прошлом веке и на математическую модель универсума [51]. Просканируем язык физических концепций, шествующих в авангарде нововременной науки. “С точки зрения квантовой теории, – рассуждает Нобелевский лауреат Л. Купер, – свет или материя, фотоны или электроны не являются ни волнами, ни частицами, ни тем и другим вместе взятыми. Математические образы, которые соответствуют этим физическим объектам, должны содержать тонкую комбинацию некоторых свойств как волн, так и частиц” [52]. Однако вся “тонкость” указанного комбинирования, передающая специфику кванта, достаточно жёстко – количественно – предзадана. Согласно принципу неопределённости В. Гейзенберга (в рамках диалектико-метафизического дискурса оборачивающегося принципом определённости), произведение погрешностей координаты кванта и его импульса приблизительно равно константе М. Планка. Мы не можем с абсолютной точностью (с нулевой погрешностью) оперировать ни величиной координаты кванта, ни величиной его импульса, но вполне правомочны, изначально задав величину погрешности любого из двух отслеживаемых параметров, без труда вычислить величину погрешности другого параметра. Таким путём между координатой и импульсом устанавливается связь по типу координации (корреляции). В её основе лежит модель субконтрарности (“и то, и другое”; “и частица, и волна”, применительно к поведению электрона), не удовлетворяющая – сошлёмся на авторитет С.Л. Франка – философский разум. Учёный видит в ней итог своей деятельности, общее решение поставленной перед ним задачи, универсальную схему, под которую без особого труда подгоняются все возможные частные случаи определённого класса. Диалектический метафизик усмотрит в субконтрарной модели только предварительный набросок, сырьё, без хорошей экзистенциальной закваски остающееся всего лишь любопытной интеллектуальной эскападой, шарадой. Это необходимый, но далеко не достаточный материал для того, например, чтобы, перечитывая изречения Гераклита или напевая “Подмосковные вечера”, каждый раз ответственно решать, оставаясь наедине с собой: движется всё-таки речка, или не движется? Вечно становящийся, ежесекундно переходящий в игру полу-

тонов язык философии подвижнее, вариативнее и вуалированное языка науки. Концептуальная строгость науки воплощена в калькулируемой точности; философия, блюдя строгость, обязана быть в таком роде неточной [53].

Впрочем, сопоставление вербальных проекций философии и науки этим моментом не исчерпывается. И, только на первый взгляд – парадоксальным образом, первая оказывается одновременно конкретнее и полновеснее второй. Обусловлено это неизбежным наложением ещё одной смысловой грани их соотношения, аксиологической. Диалектико-метафизические высказывания ориентированы не только на констатацию фактов и связей между фактами, как то предписано канонами науки, но и на их оценку, а через эту процедуру – на возвращение фактам событийного статуса. Так издавна повелось. “... Речи научные, – свидетельствует Аристотель, – совсем не отражают ни нравов, ни намерений, потому что не отображают цели. Другое дело, сократические диалоги, которые касаются именно этих вопросов” [54]. Оценка происходит из сравнения любого нынешнего, текущего состояния наблюдаемого предмета с его конечным (квази-конечным) состоянием. Нововременная наука, не перечая Стагириту, табуирует дешифровку финальных причин сущего. Ибо, декларирует она от лица Р. Декарта, “следует рассматривать, не для какой цели бог создал каждую вещь, а лишь каким образом он пожелал её создать (курсив мой – А.Ф.)” [55]. Вследствие чего аксиологические суждения, фундированные финальными причинами и состояниями мироздания, исключаются из научного дискурса. В согласии с замыслом науки о самой себе она оперирует ценностно нейтральными высказываниями. Точнее, ценностно нагруженными лишь в той мере, в какой аксиологичен всякий язык, а любое слово-подлежащее неизбежно предполагает сказуемое, коим “является творческое “Да будет!”” [56]. Но – не более того.

* * *

Наконец, резюме. Все три сличаемых языка осмыслены. При этом их семантическая конфигурация различна. Та, что свойственна литературному письму, отличается безоговорочным первенством субъективной компоненты смысла. Оттого семантическая матрица литературы зыбка, прихотлива, терпима и даже провокативна по отношению к проти-

воречиям. Философия и наука, не менее, а то и более (применительно к науке) внимательные к сферам intersubъективно и объективно сущего, неизбежно оказываются концептуально строже организованными. Но эта их строгость, подразумеваемая, в частности, минимизацию числа противоречий, достигается разными путями. Наука снимает обнаруживаемые ею антиномии конвенционально на intersubъективной ступени слова и дела. Философии соглашательство в таких дозах претит. Она настаивает на ответственной личностной акцентировке и нюансировке знания, на экзистенциальном разрешении жизненных апорий.

Примечания и литература

1. Микешина Л.А. Истинность как свойство знания // Диалектика познания: Под ред. А.С. Кармина.- Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988.- С.60.
2. Флоренский П.А. Мысль и язык // Флоренский П.А. Сочинения: В 2-х т.- М.: Правда, 1990.- Т.2.- С.208.
3. Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г.Г. Сочинения.- М.: Правда, 1989.- С.381.
4. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?: Пер. с фр. С.Н. Зенкина.- М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998.- С.36.
5. См.: Неретина С.С. Средневековое мышление как стратегема мышления современного // Вопросы философии.- 1999.- №11.- С.137.
6. Одоевский В.Ф. Русские ночи // Одоевский В.Ф. Сочинения: В 2-х т.- М.: Худож. лит., 1981.- Т.1.- С.194.
7. Бурлюк Д., Кручёных А., Маяковский В., Хлебников В. Пощёчина общественному вкусу // Литературные манифесты от символизма до наших дней.- М.: XXI век – Согласие, 2000.- С.142.
8. Борхес Х.Л. Вавилонская библиотека // Борхес Х.Л. Проза разных лет: Пер. с исп.- М.: Радуга, 1989.- С.85.
9. Якобсон Р. О. Новейшая русская поэзия. набросок первый: Подступы к Хлебникову // Якобсон Р.О. Работы по поэтике: Пер.- М.: Прогресс, 1987.- С.275.
10. Аверинцев С.С. Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда // Новое в современной классической филологии.- М.: Наука, 1979.- С.41-81.
11. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского - М.: Советская Россия, 1979.- С.271.
12. Там же.- С.273.
13. Флоренский П.А. Мысль и язык.- С.201.
14. Там же. С.205-206.
15. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики: Пер. с нем.- М.: Мысль, 1975.- С.347.
16. Там же - С.399.

17. Точнее, по Г.В.Ф. Гегелю, абстрактны подменяющие понятие “простые определения”, заимствующие у него “лишь момент всеобщности и опускающие особенность и единичность” (Там же.- С.345).
18. Там же.- С.401.
19. Шлегель Ф. Фрагменты // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: Пер. с нем.- М.: Искусство, 1983.- Т.1.- С.196.
20. Кожнев А. Религиозная метафизика Владимира Соловьёва // Вопросы философии.- 2000.-№3.- С.110.
21. Дебор Г. Общество спектакля: Пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович.- М.: Логос, 2000.- С.108-109.
22. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники: Ежегодник 1984-1985.- М.: Наука, 1986.- С.105.
23. Там же.
24. Введенский А. Ответ богов // Дружба народов.- 1988.- №7.- С.177.
25. Цит. по: Кручёных А., Хлебников В. Слово как таковое. О художественных произведениях // Литературные манифесты от символизма до наших дней.- С.144.
26. Флоренский П.А. Мысль и язык.- С.183.
27. Потемня А.А. Психология поэтического и прозаического мышления // Потемня А.А. Слово и миф.- М.: Правда, 1989.- С.234.
28. См., в частности, одноимённый манифест А. Кручёных и В. Хлебникова, обнародованный в 1913 году.
29. Шкловский В.Б. Искусство как приём // Шкловский В.Б. О теории прозы.- М.: Советский писатель, 1983.- С.25.
30. Тодоров Ц. Теории символа: Пер. с фран. Б. Нарумова.- М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998.- С.354.
31. Там же.- С.348-349.
32. Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты.- С.422.
33. Там же.- С.429.
34. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1985.- С.105.
35. Розин В.М. Типы и дискурсы научного мышления.- М.: Эдиториал УРСС, 2000.- С.57-58.
36. Там же.- С.65.
37. Щитцова Т.В. К истокам экзистенциальной онтологии: Паскаль, Киркегор, Бахтин.- Мн.: Пропилеи, 1999.- С.22.
38. Краткое изложение принципов его построения см.: Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов: Пер. с англ. А.Д. Шмелёва.- М.: Языки славянской культуры, 2001.- С.48-59.
39. Шмелёв А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю.- М.: Языки славянской культуры, 2002.- С.210.
40. Камю А. Чума // Камю А. Избранное: Пер. с фр.- М.: Правда, 1990.- С.190.
41. Полани М. Указ. соч.- С.83.
42. “У культурного человека энергия обращена вовнутрь, у цивилизованного вовне” (Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность: Пер. с нем. К.А. Свасьяна.- М.: Мысль, 1993.- С.170).
43. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии).- М.: Мысль, 1972.- С.182.
44. Там же.- С.201-202.
45. Там же.- С.186.
46. Там же.- С.190.
47. Неретина С.С. Указ. соч.- С.122-150.
48. Там же.- С.134.
49. Кржижановский С.Д. Возвращение Мюнхгаузена // Кржижановский С.Д. Сказки для вундеркиндов: Повести, рассказы.- М.: Советский писатель, 1991.- С.605.
50. Франк С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Сочинения.- М.: Правда, 1990.- С.311.
51. См., например: Лешкевич Т.Г. Философия науки: Традиции и новации: Учебное пособие для вузов.- М.: ПРИОР, 2001.- С.288-289.
52. Купер Л. Физика для всех: Пер. с англ.: В 2-х т.- М.: Мир, 1974.- Т.2.- С.178.
53. Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет: Пер. с нем. А.В. Михайлова.- М.: Гнозис, 1993.- С.138-139.
54. Аристотель. Риторика, III, 16 // Аристотель. Риторика, Поэтика: Пер. с древнегреч.- М.: Лабиринт, 2000.- С.142.
55. Декарт Р. Начала философии // Антология мировой философии: В 4-х т.- М.: Мысль, 1970.- Т.2.- С.245.
56. Флоренский П.А. Общечеловеческие корни идеализма // Флоренский П. Оправдание космоса.- СПб.: РХГИ, 1994.- С.46.